

НАТАЛИЯ КОСТЕНКО,

доктор социологических наук, заведующая
отделом социологии культуры и массовых
коммуникаций Института социологии НАН
Украины

СЕРГЕЙ МАКЕЕВ,

доктор социологических наук, заведующий
отделом социальных структур Института
социологии НАН Украины

Место и время социологии

Abstract

It is well known that periodical statements of crisis of social sciences proved constantly to be new turns and vistas revealing each time untapped resources of sociology. The essence of modern claims sociologists agree with is in evident weakening of referentiality — sociology is losing the contact with “society”, with that which constituted it both as a science and as a special intellectual practice. This fact seems to prejudice the very ability to be a “modern science about modern society”. The authors believe that the paradox of the current situation lies in the parallel existence both of uncertainty about the key point of the discipline and concern about adequacy of methods, as well as in quite convincing experience of combining tradition and innovation in the works of N.Luhmann, P.Sztompka, L.Thévenot and L.Boltanski, J.Urry, that engenders the phenomenon of “new old sociology”. The article deals with metamorphoses of temporality the social disciplines are concerned with when describing local and extremely wide spaces of human coexistence.

“Сегодня ситуация выглядит таким образом, будто утопическая энергия иссякла, будто она покинула историческое мышление. Горизонт будущего сжался, а дух времени, как и политика, основательно изменился. ... В ответах интеллектуалов отражается та же беспомощность, что и у политиков. ...Пусть ситуация объективно непрозрачна. Между тем непрозрачность является еще одной из функций готовности к действиям, на которые общество считает себя способным. Речь идет о доверии западной культуры к самой себе”.

Юрген Хабермас

Весть о завершении проекта социологии, каким он был замыслен и каким возник, слышится все отчетливее, и эсхатологические обертоны вот-вот достигнут периферийных дискурсов. Лет двадцать назад предчувствия темы казались уместными лишь в рафинированных высказываниях и культовых текстах, тогда как социологические практики, размножившиеся на волне повсеместной легитимации социального знания, едва ли задавались беспокойством на этот счет. Собственно, критика социологии и всего комплекса методов и репрезентаций, именуемого социальными науками, была предзадана фактом санкционированного Модерном решения — превратить в аутентичную научную дисциплину изучение совместной жизни людей, то есть вверить это изучение “операторам научности”, которые редуцировали бы “спорную нормативность к измеряемой закономерности” (Лоран Тевено). Пустоты и несоответствия, наличествующие в пространстве допущений такой трансформации, всегда возбуждали критическую рефлексия — извне и внутридисциплинарную, и она приводила порой к драматическим развязкам вопроса об идентичности социологии, обязавшейся непредвзято моделировать экономически обусловленные порядки, но не разорвавшей окончательно уз с политической и моральной философией и не удалившейся на непреодолимые дистанции от сфер гуманитарного познания. Избытки и дефициты любого из этих постоянных влечений социологизирования перманентно ставились ему на вид: критический анализ современной системы господства против скрытой апологетики позитивного знания, эталоны строгой науки против релятивизма и т.д. Между тем периодические констатации кризиса наук об обществе оборачивались их новым и самоуверенным продвижением, новыми поворотами и перспективами, обнаруживая всякий раз неизрасходованный ресурс социологии, ее неистраченное бытие. XX век называют веком социальных наук (Питер Вагнер), имея в виду масштабность их репрезентаций относительно мира людей, которые помимо автономного знания заключали в себе способность служить публичным аргументом не менее масштабных политических действий.

Статусы упадка

Нельзя сказать, что такая способность реализовывалась с энтузиазмом и повсеместно. За презентационными версиями истории дисциплины обнаруживается вполне размеренная ее эволюция, не предполагавшая больших потрясений и ломки основ первоначального проекта, который в силу схематичности общего формата был открыт для последующих насыщений и ревизий. Размеренностью, конечно же, не исключалась напряженность. Однако в большей степени она проистекала отнюдь не из несостоятельности ответов социологии на общественный запрос. Таковой явным или неявным образом также был частью проекта: открывать закономерности означало накапливать полезное знание для лучшего управления общими благами, состояниями и процессами. Впрочем, веку “оптимистического сциентизма” (Андре Мальро) так и не суждено было случиться: он оборвался посередине двумя атомными бомбардировками, фактически закрыв перспективу долгосрочного будущего для сколько-нибудь осмысленной (“научно обоснованной”) дискуссии. Между тем в послевоенное “блестящее тридцатилетие” гуманитарных наук, а потом и позже по инерции к социологам все еще активно апеллировали, представляя программы развития. Чаще апелляции носили ритуальный или формальный характер, к чему обязывал легитим-

ный статус академической науки “социогуманитарного” цикла, соотноситься с которой вменялось элитам, чтобы держать руку на пульсе. Но именно этот статус все дальше уводил от участия в обосновании политических решений — как нечувствительный и безынициативный в отношении практического интереса. Более привлекательным для обеих сторон становился эффективный маркетинг в сфере политики. Что касается, например, украинской академической социальной науки, то сегодня она вынуждена публично напоминать: “социология — это не только политические рейтинги”.

Напряженность в эволюционном движении социологии вызывала и продолжает вызывать, то затухая, то возобновляясь, конкуренция перспектив, направлений, организационных центров и школ. Пожалуй, только аналитически их можно причислить либо к архаистам (фундаменталистам), либо к новаторам, с разной скоростью, ригидностью и интуицией резонирующим на изменения подлежащей наблюдению территории, а также на общественные ожидания насчет оценки опасности или благоприятности этих изменений. К концу прошлого века конкуренция приобрела отчетливую зримость, превысила возможный предел, заметно перекроила пространство социальной мысли, сузив русло “мэйнстрима” и сформировав картину множественной социологии. Картина сложилась столь разительной, что побудила к серьезному пересмотру истоков и постановке вопроса о том, не является ли расщепление социологического воображения результатом родового изъяна и можно ли вообще надеяться на прежнюю целостность, постулируемую идеей науки об обществе. “Существуют ли какие-либо тезисы, общие для всех великих авторов социологической традиции, будь то в скрытой или явной форме?”, — именно так и формулировался вопрос для обсуждения на симпозиуме в Париже (2003 год), посвященном перспективам создания общей социологической теории в эпоху глобализации [1]. На этот раз ситуация с преодолением кризиса оказалась сложнее. Под сомнение попадают и предмет и метод социологии.

Суть претензий, в которых сходятся и эксперты, и сами социологи, состоит в заметном ослаблении референциальности — утрате социологией контакта с “обществом”, тем, что конституировало ее и в качестве науки, и в качестве особенной интеллектуальной практики. Это уже не оспаривалось на последнем конгрессе Международной социологической ассоциации в Дурбане (2006). Тезис распадается на ряд контекстов, эксплицирующих несоответствие основных понятий, способов научного объяснения и притязаний социологии “быть современной наукой о современном обществе” [2, с. 41]. К сегодняшнему дню они детально оговорены, достаточно их перечислить, собирая воедино.

Демонтаж ключевого концепта. Репрезентация социальной жизни посредством идеи “общества” явилась, как известно, счастливой находкой в обосновании предмета социологии, позволившей ей когда-то утвердиться в горизонтах дисциплин о человеке и государстве. Изначально принятый вариант — измерять закономерности целого на основе функционирования “элементарных” частиц социальности в виде масс, коллективов, социальных групп — был не единственной рассматриваемой моделью. Конечной, неразложимой единицей всегда оставался отдельный индивид со своей привычкой действовать, регулируя тем самым порядок в людских сообществах [1]. С определенной искусственностью выигравшего концепта “общества” легко можно было мириться, пока сам концепт находил убедительные структурные и функциональные оправдания. Однако идея общества “ни-

когда не была очевидной или естественной. Она всегда была сконструированной, и ее следует признать как предельно разработанный и комплексный подход к формам поведения и социальной организации”, констатировал Ален Турен на XV Всемирном конгрессе социологов в докладе “Социология без общества” [3]. Прилаживание конструкта к изменившимся реалиям современного мира все в большей мере обнажает логическую избыточность в его сочленениях, своеволие общей сборки, которые затрудняют непредвзятое восприятие целостного образа, совокупности институтов и акторов.

“Общество” как двойник и альтер-эго нации-государства утрачивает онтологическую и гносеологическую универсальность, что в обсуждениях глобализационных перспектив проявляется в виде общеразделяемой позиции, если не сказать трюизма, исчерпывающе проиллюстрированного Ульрихом Беком в “контейнерной теории общества”. Общество, заключенное в рамках национального государства, перестает быть основной единицей социальных взаимодействий, поскольку социальность реализуется ныне также и поверх границ национального пространства действий, в новых интеграционных формах экономики и политики, постнациональных констелляциях (Юрген Хабермас). Между тем установка на общество остается преобладающей, особенно когда речь идет об организации исследования. “Связь между социологией и национальным государством настолько тесна, что образ “современных”, упорядоченных отдельных обществ, обретший вместе с укреплением организационно-политической модели национального государства обязательный характер, благодаря притязаниям классиков общественных наук на фундаментальность в лучшем смысле этого слова был абсолютизирован в логически неизбежный образ общества вообще” [2, с. 50]. Действительно, проблематично помыслить, чтобы, например, отечественные социологи, как, впрочем, и все другие, отказались от поиска идентичности “своего”, в нашем случае украинского, общества, не представляя его сообразно общепринятой модели, но заодно и не воспринимая в качестве автореферентной малой Вселенной, где все то и происходит на самом деле. И не об этом ли свидетельствуют расширяющиеся кросс-культурные мониторинги, для которых идеалом реальности является модель национальной сборки. Ригидность практик, их направленность на выполнение образцов, доказавших неоднократно свою успешность, добавляет еще одно несоответствие в общую картину. Да и так ли уж велика и осознанна наша решимость принять себя лишь в качестве вариации глобального мира?

Нерелевантность метода предмету и наоборот. В силу намеренности исходного жеста в создании социологической дисциплины никогда не уходило ощущение некоторой странности: идея предполагала максимально отделить и противопоставить социетальный и природный порядки, но исследовать первый теми же средствами, которыми традиционно исследуется второй [4, с. 11]. Причем для того, чтобы увидеть человеческий мир как материал, подготовленный для наблюдения и анализа естествоиспытателем, а позже и интерпретатором, освобожденным от ценностного суждения, требовалось, соблюдая интеллектуальное кредо, совершить весьма непростую мыслительную работу. Признать, например, постулатом принудительный характер социальных фактов, что привело позднего Дюркгейма к интерпретации общества не только как эмпирической, но и, в значительной мере, трансцендентной и сакральной реальности, источника и вместилища всех высших ценностей. Или же в качестве ресурса понимания допустить исто-

рические “идеальные типы”, определяемые самим же Вебером как конструкции, имеющие “характер *утопии*, полученной посредством *мысленного* усиления определенных элементов действительности” [5, с. 389], чем, скажем, обусловлена сложность операций с его “целерациональным действием”, которое, собственно, и является таким “чистым” конструктом, как, впрочем, позже и Хабермасово коммуникативное действие. Или же осуществлять феноменологическую редукцию, обязывающую воздерживаться от суждений о существовании или несуществовании объектов внешнего мира, а у Шюца, напротив, воздерживаться от всякого сомнения на их счет, дабы не воспрепятствовать живому восприятию и переживанию мира. При этом эмпирический результат зачастую не превосходит констатаций здравого смысла, подтверждает уже известное в личном и коллективном, в том числе социологическом, опыте. Имеются и радикально альтернативные практики: связи и зависимости переменных устанавливаются все более изощренными способами, но ощущения, будто результат попадает в точку, репрезентация точнее и выразительней представляет социальный мир, не возникает. Ставшая явной нетехнологичность добываемых знаний лишает социологов и статуса “экспертов”: сбывается не “расколдовывание” мира, чего ожидал от социального ученого Макс Вебер, но развернутая в текст как бы повторная его мистификация, триумф социологической автаркии, плод методически тщательной работы социологии на саму себя.

Дискурс о проблемах в социологии и с социологией не экономит на палитре оттенков — от признания “коллапса классической социологии” в силу того, что общество само по себе распадается на фрагменты [3], до предложений смелого манифеста для дисциплины, которая явно утратила свой центральный концепт [4, с. 20]. Тема упадка и предвкушения перемен в социологии вписывается в более широкую дискуссию относительно современного состояния социальных и гуманитарных наук, где также за разнообразием неудовлетворенностей и неутешительных прогнозов на ближайшее будущее обнаруживается устойчивое желание исследователей работать в своей области и, соответственно, увлекаться новыми перспективами. В отдельных научных сообществах европейского пространства такая дискуссия становится открытой, даже публичной, в других о ней предпочитают не говорить на официальных мероприятиях. Нюансы и перипетии переживания кризиса французскими интеллектуалами и их российскими коллегами выразительно представлены в книге Дины Хапаевой “Герцоги республики в эпоху переводов” о трансформации понятий в гуманитарных науках [6]. Дискуссионные материалы регулярно появляются также в нон-фикшн периодике “Журнального зала” на magazines.ru. Однако в “эпоху переводов”, как удачно идентифицирует нынешнее время Хапаева, полнота представлений о том, что происходит в социологических и гуманитарных кругах иных языковых культур, страдает из-за неравномерности самих потоков переводов, обусловленной массой побочных для содержания дискурса причин (наличием общих проектов, традицией контактов, предпочтениями и намерениями издателей)¹.

¹ Например, издание работы Филиппа Коркюфа “Новые социологии” о современном состоянии социологии во Франции, ряда других работ гуманитарной направленности осуществлялось в рамках программы “Пушкин” при поддержке МИД Франции и посольства Франции в России [7].

Стремительность изменений интеллектуальной атмосферы в последнее десятилетие, не подводящая под определение простой смены научной моды, как это еще удавалось в случае постмодернизма, свидетельствует не столько о методологической нестойкости или отсутствии сопротивления, сколько о радикальном переосмыслении приоритетов и возможностей “социальных наук”. “История, этот идеал Просвещения, по словам Йорна Рюзена, распадается на части в наших руках” [цит. по: 8, с. 187]. Если идея “тотальной истории” все еще присутствует в современном проекте Анналов, то, скорее всего, во второй или третьей редакции и с куда большим интересом к актору, чем просто признание его анонимного участия в социальной, опосредованной структурами истории [1]. Многообразие “новых” новых историй, в которых можно усмотреть преемственность и представить их в терминах Броделевой “структуры большой длительности” [8, с. 188], или же от которых, напротив, впадаешь в недоумение, пытаясь соотнести с академическими стратегиями “новую политическую историю”, “концептуальную историю политики”, “социальную историю политики” [6, с. 87], — таково поле игры исторического воображения сегодня. О депрагматизации истории в пользу непосредственного переживания прошлого как опыта исторической культуры говорит Ханс Ульрих Гумбрехт в главе “После уроков истории” в своей книге о 1926 году [9, с. 465–495]. Не менее определенен и Отто Герхард Эксле, считающий, что исторические науки не вправе предписывать жизни, “как та должна быть устроена”, однако на них “должна быть возложена забота о том, чтобы как можно большее избежало забвения” [10, с. 22]. Несомненно, пересмотрами историю не лишит дидактической функции, на что справедливо указывают Наталья Яковенко и другие украинские историки [11], но ее притязания быть “*magistra vitae*” основательно снижены.

Социология же всегда имела дело с самым что ни есть настоящим, и ее акцентуацией всегда было соответствовать времени, что она всячески поощряла и взращивала. Вполне понятно, что изменившаяся современность предъявила к ней претензии в первую очередь. Существенно запоздал, как оказалось, язык социологии, которым уже сложно изъясняться в новой реальности. Не то чтобы социологическая лексика прослыла старомодной — при современных средствах коммуникации отечественная практика, например, в наверстывающем ритме осваивала только что введенные и переведенные обороты интеллектуальной речи. Не то чтобы большие нарративы социологии, воплощенные в перспективах структуры, действия и культуры, привычно понимаемой как совокупность ценностей и норм, необратимо перестали убеждать. Но что-то разладилось, очевидно или неуловимо. И даже оставив открытым вопрос о Ключевом концепте, массово подвергнутом деконструкции или же массово в нее повергнутом, не избежать повседневной апории: смысл выскальзывает из многословия социологических интерпретаций, которые еще вчера казались адекватными и проясняли тенденции, вместе с тем все острее чувствуется нехватка слов, так необходимых для артикуляции особенностей текущего момента. В любом случае речь идет о бессилии языка выразить происходящие изменения, схватить реальность [6, с. 96–100, 196]. Путаница политических правых и левых не только в гражданском, но и в экспертном сознании — здесь самый тривиальный пример. Составление концептуального словаря, если положиться на широко цитируемые доводы Рейнхарда Козеллека, растянется на несколько десятилетий. Один из путей усматривают в смещении в исторических понятиях

баланса между универсальными значениями и конкретным опытом в сторону последнего, то есть в пользу “логики имен собственных”, не разрывающих связей с “логикой общих утверждений” [12, с. 222], что, видимо, означало бы замену гиперметафор метафорами, приближенными к буквальному описанию. Но о чем-то подобном, как кажется, еще совсем недавно сообщал постструктурализм. Пока в таком словаре фигурирует одно понятие “Европа” [12], хотя, вероятно, на тех же основаниях сюда же можно включить и “Африку”, ту, что “не континент, а понятие” [2, с. 54–56]. Как бы то ни было, представители региональных социологий связывают переосмысление аспираций универсализма с учетом упадка его евроцентричной матрицы [13]. Что же касается локальных языков, социологических диалектов, то они формируются достаточно интенсивно, часто их символические ряды не конвертируются друг в друга и остаются недостижимыми для непосвященных. Не менее сложно обстоит дело и с парадигмами, если иметь в виду их способность с легкостью воспроизводиться адептами.

Новые старые социологии

Между тем, новых социологий не меньше, чем историй или образцов культурных, антропологических и лингвистических исследований, то есть того, что в философской среде считается “континентальными болезнями” (Даниэль Андлер). Единодушного диагноза практикующих социологов относительно выявленных патологий их дисциплины не наблюдается, акценты скользят в координатах ригоризма и свободы. Представляя генерализованный образ социальной науки на форумах Европейской академии социологии в 2002–2003 годах, Раймон Будон и солидаризирующийся с ним Джон Голдторп выделяют четыре идеальных типа социологии: эстетическая, или экспрессивная, общественно пристрастная (*committed*), или критическая, дескриптивная, или камеральная (*cameral*) и, наконец, “действительная” (*‘sociology that really matters’*), когнитивная, или научная социология [14; 15]. Только последняя — SSS (*sociology as social science*) — безоговорочно достойна быть статусной академической дисциплиной. Именно ее следует всячески поддерживать для сохранения доброй репутации социологии как ясной альтернативы построенной на опыте произвольного переживания экспрессивной модели и ведомой моральной и политической нормативностью (идеологией) критической рефлексии. Призванная объяснять непрозрачные феномены социальной жизни, SSS вступает в успешное сотрудничество с камеральной, описательной социологией, лучшим изобретением которой являются выборочные опросы, без чего современной социальной науке не обойтись, подобно тому, как астрономия будет бесплодной без телескопа, а биология — без микроскопа [15, с. 99].

Модификации предложений, с которыми связывают обновление социологии, не предполагают неожиданных и невообразимых поворотов. В основном, это узнаваемые или более неординарные комбинации традиционных перспектив с сильной структурной составляющей, но и с намеренно пронизательным взглядом на действия акторов и идентификацию их местоположения по отношению к структуре или системе, будь то временным, случайным, искомым, желаемым или укорененным и неподдающимся коррекции. Неопределенность флуктуаций и колебаний индивидов в обстоя-

тельствах рассеивания пространственной интеграции пересеченных коммуникациями обществ принимается в расчет и в построениях системных образов. Все чаще единичный человек способен избегать особых пространственных условий и заменять их на другие благодаря своей подвижности. Поскольку это становится общественной нормой, постольку необходимо, считает Никлас Луман, изменить и представление об аутопойезисной системе, с тем чтобы системные границы также мыслить подвижными, чтобы они не понимались больше “как края системы, как слои кожи или мембрана, которыми система себя как бы укрепляет и огораживает” [16, с. 151].

Как правило, наиболее известные проекты, композиционно оформленные и представленные монографически, едва ли уместно квалифицировать в качестве исследований некоего мезоформата, поскольку каждое претендует на вполне автономную позицию, комфортабельную для полноценного обзора социально взаимосвязанного мира людей. Непросто их разместить и в только что приведенном классификационном дизайне, так как каждое стремится освоить преимущества всех моделей социологии, в разной степени оставаясь привязанным к родительским парадигмам, имеет интенцию репрезентировать механизмы и практики производства нового гуманитарного знания разными акторами, которое отвечало бы современным условиям совместной жизни. Возьмем несколько представляющихся выразительными примеров.

В *социологии мобильности* Джона Урри реконструируемая социальная наука изымает из фокуса видения отслуживший концепт “общества”, центрируясь на “мобильностях”, осуществляемых поверх барьеров географически и социально маркированных территорий и структурирующих глобальное пространство. “Более новые” правила социологического метода требуют введения в оборот метафор, пригодных скорее для репрезентации мобильной, постоянно движущейся реальности, эмерджентных упорядочений и императивов темпоральности, чем статичности, структуры и социального порядка [4, с. 18]. Мобильности охватывают практически все виды людской активности, начиная с физических, воображаемых, виртуальных перемещений разного рода субъектов и завершая “интеллектуальной мобильностью”, посредством которой в особых средах “креативной маргинальности” производятся инновации в социальных науках, а также мобильностью, питающей социологию “эмансипаторским интересом” новых социальных движений [4, с. 220–221]. Неизбежные участники мобильности — объекты материального мира, входящие в окружение действующих субъектов и составляющие с ними общие, гибридные мобильные образования. Поэтому “рассматривать вещи как социальные факты” является одним из естественных правил обновленного метода [4, с. 18].

Взаимодействие людей с миром вещей, технической и экологической средой, способными сегодня решающим образом участвовать в регуляции поведения и действий субъектов, независимо от того, является ли этот мир отчужденным или присвоенным человеческими сообществами, — собственно это приобретает все большую значимость в различных концептуальных проектах с несовпадающими методологическими доминантами. От моделей сетевых переходов акторов у Бруно Латура до экологической направленности рассуждений Ульриха Бека. *Социология множественных режимов действия* Лорана Тевено и Люка Болтански также входит в их число. Однако главная ее претензия состоит в построении высоко генерализованной,

если не сказать универсальной, конструкции, моделирующей зависимость действия от общезначимых принципов или “порядков величия”, руководствуясь которыми люди ищут согласия в публичном и любом другом пространстве, чтобы получить оправдание и достичь признания. Совмещение типологий “порядков величия” и ситуаций создает сегментацию многообразных режимов вовлеченности акторов в совместную жизнь, будь то повседневная коммуникация и решение споров в профессиональном кругу или конфигурации творчества в гуманитарных науках, такие как технократизм, рыночная конфигурация, режим репутации, гражданский, вдохновенный, патриархальный режимы [17; 7, с. 153–162]. Собственно, своим трудом авторы и иллюстрируют одновременную доступность для индивида разных режимов вовлеченности, относя его (этот труд) к “прагматической социологии”, но и расценивая как близкий к деятельности политических философов и теоретиков справедливости, поскольку он репрезентирует “способы и формы выражения обыденного чувства несправедливости в виде модели, правил и требований” [17]. Столь усложненная структурная конструкция, реализуемая посредством “региональных” моделей, то есть предполагающая изоморфизм режимов, организующих разные пространства жизни, потребовалась для того, чтобы избежать релятивизма “в духе Макса Вебера” и “тем более культурологического фундаментализма”. По мнению Тевено, это возможно в силу того, что проблемы ценностей рассматриваются с точки зрения множественных порядков величия, которые, будучи ориентированными на всеобщность и значимость для всего человечества, делают соизмеримыми ценности самых разных обществ и культур [17].

Социология доверия Петра Штомпки движима намерением подтвердить претензии социальной науки, не утратившей “впечатлительности в отношении важных социальных вопросов”, стать самосознанием общества [18, с. 19]. Его книгу “Доверие. Фундамент общества”, пожалуй, можно без сомнения отнести к эпическим социологическим текстам, в которых преобладает традиция и классические образцы экспликации понятий, не чуждые, между тем, новейшей лексике. Сквозь оптику доверия рассматриваются моральные основы современного общества, в котором культура доверия противопоставляется “культуре цинизма”. В объемной репрезентации феномена доверия, включая его идею, виды, основания, социальные связи, функции и проявления в отдельных областях общественной жизни, используется культурологический подход и “методология эклектизма”, в строгом мертовском понимании [18, с. 19]. С такого рода смещением социологии в сторону культурной репрезентации совместной жизни людей, которое перенесло бы акценты с понятия прогресса на шансы и риски субъектов (включая новых коллективных акторов), в плохо предсказуемом мире, все чаще связывают перспективы изучения социальной реальности [3].

К искусству

Наконец, на полюсе свободы, методологической эмансипации, избавления от чрезмерной опеки со стороны традиции конституируется иная перспектива социологии и гуманитарных наук. На их горизонте все отчетливее вырисовывается образ искусства, пленительный для любого, имеющего дело с текстами и их создающего, образ, который дает о себе знать в разных

контекстах и подступает к социологии с разных сторон. Магнетизм этого вечного “аттрактора” ощутим не только для гуманитариев, вдруг обнаруживших себя “на пороге растерянности” (Уэльбек), что было бы легче всего предположить как некую уловку методологической неприкаянности. Но об этом заявляет вполне уважаемая социология и другие науки о человеке. Лоран Тевено, рассуждая об обновлении первоначального проекта социальных наук вообще и социологии в частности, предлагает вспомнить древнее значение слово “наука”, сближающего его с инструментально ориентированным *искусством* взаимодействия [1]. Николай Копосов связывает преодоление кризиса социальных наук с возможностью их движения “к свободным искусствам”, имея в виду необходимость трансформации университетов-супермаркетов в колледжи либерального образования, терминологически восходящего к “семи свободным искусствам” (*septem artes liberales*) и в большей степени отвечающего педагогическим задачам глобального постиндустриального общества [12, с. 234–239]. Артикулированно на этом же настаивает Ханс Ульрих Гумбрехт, задаваясь вопросом, почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть “Humanities and Arts”, и призывая их вырваться из “ледяных объятий научности” [19]. “Humanities and Arts” видятся им как “пространства, обеспечивающие возможность рискованного мышления”, то есть мышления, идущего навстречу воображению и интуиции. Мышления, не отягощенного текущими требованиями практичности и в силу этого способного выполнять свою основную функцию — расширять и усложнять индивидуальные умы, позволяя в то же время обществам и институтам оставаться открытыми для перемен [19]. Опровержение эталонов не входит в этот проект, скорее просто не требуется на них постоянно оглядываться, принимая за критерий правильности интеллектуального поиска. Искусство не занимает общее и универсальное, равно как стандартное и законное. А свойственная ему настроенность на малозаметное, непохожее, едва различимое имеет своим итогом не истину, но в новом освещении представленные или впервые увиденные частности, неожиданный взгляд, способный изменить отношение к казалось бы очевидному. Посредством ассоциаций социологии с искусством постулируется не только профессионализм, желаемое совершенство усилий, но также и возведение в гораздо более высокую степень, чем это принято в социальных науках, гуманитарной и социальной значимости подробностей, мелкого, случайного, неустойчивого. Всего того, что наполняет человеческую жизнь, но стойко не регистрируется “операторами научности”, запрограммированными на норму в пике ее бесперебойного функционирования или в момент окончательного ухода.

На фоне истончения парадигмальных и описательных ресурсов социологии ее непреодолимо влечет и рискованное мышление, и непосредственность литературного стиля. Но за это надо отдать немалую цену. “Экспрессивная, или эстетическая” версия, где это допустимо, расплачивается академической снисходительностью, хотя обеспечивающее автору успех литературное дарование вместо аналитической мощи расценивается как пусть и “оппортунистическая”, но все же “способность схватить *Zeitgeist*” [15, с. 98]. Неудачи практик, подобных манифестации нового историзма в России [20], весьма негативно встреченной ортодоксальной социологической критикой [21], как и неприятие исходного течения, то есть нового историзма в современной американской историографии, самими “методологическими либералами” за повышенные притязания на писательство, конструктивистскую

практику — “творить историю”, и его излишнюю метафоричность, не позволяющую исторической реальности репрезентировать самое себя [6; 9, с. 469–475], отодвигают проект “социологии как искусства” в область возможного.

Кроме того, на рынке интеллектуальных удовольствий социологии едва ли обыграть естественного монополиста литературного слова — легитимированного рассказчика. Беллетристике, не имеющей табу “крайнего субъективизма”, всегда удавалось проникновеннее являть феномены и действия любых акторов, в том числе и наделенных социальными смыслами, принадлежностью к социальным дискурсам. Признанная литература (отмеченная, к примеру, профессиональными наградами) не отстраняется и не устраняется от проблем совместной жизни людей, их желания или нежелания жить вместе, осуществляя переключку с гуманитариями, пытающимися разглядеть в колеблющемся мире “шанс нового способа быть гуманными” (Джанни Ваттимо). Нет нужды зачислять кого-то из современных писателей в “социальные” и упрощать их задачи. Но с немалым основанием можно было бы говорить о “социологии Мишеля Уэльбека” или “социологии Кадзуо Исигуро”, которые могут на равных состязаться с исследованиями социологов, культурологов, антропологов, лингвистов. Уэльбека (Гран-при, Интералье, ряд других премий), предположим, отличают не только меткие описания повседневного бытия среднестатистического европейца, его пронзительной одиночества в фантазмагории обстоятельств и последней надежды на “возможность острова”, обаяния и фарса “новых социальных движений” или неспособности общества глобальных коммуникаций к разговору [22; 23]. В его рефлексиях относительно интеллектуального климата французской, да и в целом европейской среды присутствует грустная ирония по поводу тщетности “научного” познания общественных связей, “онтологии социальных сообществ”, которым пытаются заменить понимание и объяснение людских проблем и людской солидарности. “В эвристической онтологии, — говорит Уэльбек устами ученого персонажа, — частицы неразличимы, при характеристике их следует ограничиваться аспектом их наблюдаемой “численности”. Единственные сущности, способные в такой онтологии быть выделенными и обозначенными, суть волновые функции и определяемые при их посредстве векторы состояния — отсюда аналогичная возможность возратить смысл понятиям братства, симпатии и любви” [24, с. 389]. Исигуро (Букеровская и другие премии), напротив, не ироничен, последовательно и неспешно представляя в классическом стиле английского романа, как окультуренное с благими намерениями невообразимое (поточное производство клонов человека в медицинских целях) оборачивается новыми социальными неравенствами, новыми эксклюзиями с привычными и отработанными механизмами их воспроизводства и старыми парадоксами прогресса. “Внезапно открылась масса новых возможностей; многие болезни, с которыми врачи до тех пор не могли бороться, стали излечимыми. Это было первое, что мир увидел, первое, чего он хотел... Да, кое-какие споры возникали. Но к тому времени как люди начали беспокоиться из-за *воспитанников*, к тому времени как их стало интересовать, в каких условиях вас растят и следует ли производить вас на свет вообще, уже было поздно. Дать задний ход не было никакой возможности. Как потребовать от мира, уже привыкшего считать рак излечимым, чтобы он отказался от этого лечения и добровольно вернулся к старым мрачным временам?” [25, с. 149].

Литературные реминисценции социологии возбуждают по меньшей мере две немаловажные рефлексии. Во-первых, относительно релевантности ее зримого движения к состоянию самореферентности, “искусства для искусства”, что касается не только интерпретативных версий и повествовательных практик, расширяющих экспрессивную лексику социологических текстов, но и, не в меньшей мере, тщательной стерилизации абстракций, цифровых форматов и методической прозрачности. Легитимные соответствия дисциплине по-прежнему предельно ясно формулируются в требованиях к авторам ведущих социологических изданий, где не особенно поощряется внимание к повседневным дилеммам, конфликтам, правилам, конвенциям и тем более стилистическая вольность¹. В то же время право на сложение нарративов о типовых действиях рядовых акторов едва ли не узурпировано в предельно симплифицированном варианте телевизионными сериалами и дневными ток-шоу, а в изоциренном — высокой беллетристикой. Сопутствует этому неуклонное вытеснение социологических аргументов на периферию публичных дебатов о вибрирующем пространстве совместной жизни людей, с его неяркими дифференциациями и нестойкими стратификационными порядками, возрастающее недоверие к претензиям публичной социологии “знать лучше других” об общественных проблемах, в чем без труда угадывается далеко не только украинская ситуация [27, с. 11–12]. Дискуссии относительно приглушения общественного голоса социологии, уязвимости ее гражданской ценности, контрверзы “профессиональной” и “публичной” социальной науки посвящаются престижные собрания социологов, отводятся рубрики в специализированной литературе² [28]. Не в последнюю очередь статус-кво установлен вследствие основательного расхождения между языком отчетов социологов и, скажем, социальными дискурсами медиа, ныне задающими установки и объяснительные схемы массового сознания. Однако, похоже, нельзя не признать, что возведение “башни из эбонитового дерева” сохраняет способность социологии удерживаться в масштабах мысли об обществе, особой интеллектуальной практики, которая не подотчетна соображениям политической и государственной прагматик [19] и полезный эффект которой, если повезет, переносится в будущее.

¹ Если бы, полагает Амитай Этциони, в издания Американской социологической ассоциации (ASR и другие) “анонимно было предложено эссе Макса Вебера, Эмиля Дюркгейма, Фердинанда Тенниса, Роберта Беллаха, Даниэля Белла, Натана Глэйзера, Герберта Ганса, Чарльза Р. Миллса или любого другого из наиболее значительных публичных социологов, оно было бы отклонено” [26, с. 377].

² Дискуссия о “публичной” социологии, активизированная выступлением Президента Американской социологической ассоциации Майкла Буравого на ежегодном собрании в 2004 г., поддержана рядом ведущих и региональных социологических журналов, в частности “Британским журналом социологии”, где в обсуждении участвуют Ульрих Бек, Крег Калхоун, Джон Холл и другие известные социологи [28]. Речь идет о возможностях социологии полноправно участвовать в социальных трансформациях, о потребностях общества в публичных социологах, способных обращаться к широкой аудитории и занимать особое место в “разделении социологического труда” [29, с. 431]. Тем не менее это неизбежно связано с возрастанием “популизма” и провинциализации социологических практик, которыми отнюдь не устранить академического превосходства в социальных науках. Для того чтобы социология приобрела “общественный голос”, требуется, как считает Ульрих Бек, перестроить ее заново, иначе и публичным, и не-публичным ее формам грозит превращение в “музейный экспонат” [30, с. 335].

И второй, а точнее, основной вопрос, попадающий в фокус сопоставлений социологии и искусства, — это артикуляция культурного и научного беспокойства относительно Реальности, в постижении и репрезентации которой, как оказывается, литературный вымысел может послужить адекватной проективной методикой, тогда как строгий научный проект — ограничиться скудным шаблоном. Или же, напротив — безудержный конструктивизм размножит претендующие на реальные образы, намекая на сомнительность предпосылок существования референта. А “инвестиции в форму” (Тевено), производимые приверженцами канонов научности, укрепят представление об устойчивых взаимозависимостях многочисленных акторов и структур современного социального мира. То есть остается вопрос, перманентно поддерживающий главную интригу социологии, особенно в условиях осязаемого дефицита концептуального и образного контекста, обуславливающего саму возможность содержательных, индивидуально и коллективно значимых интерпретаций эмпирической информации.

Метаморфозы темпоральности

Оправданность желания (или все-таки потребности?) новой, иной социологии уже, по-видимому, не вызывает сомнения. В дополнение к своим прежним, отнюдь не полностью дискредитированным обликам она должна быть еще и особо чувствительной к глобализирующемуся, подвижному, колеблющемуся, хрупкому, полному рисков и неопределенности миру людей. Речь идет о приобретении опыта мобильного социологического описания и истолкования “новой реальности”, а в более общем плане — времени. Именно так, поскольку описания реальности текучей, изменчивой, непостоянной прочитываются как метафоры времени в первую очередь, о чем весьма убежденно говорит Джон Урри [4, с. 1–20]. Иное дело, с помощью каких стилистических и композиционных приемов производить релевантные времени тексты, — что пока не находит доказательного и назидательного ответа. Тем более, что пространственная доминанта социологии последних лет, обусловленная множеством причин, — и настоятельностью глобальной, а значит, и локальной предметности, и авторитетной методологией социального пространства школы Бурдьё, и культурной артикуляцией настоящего, визуальной презентацией “элегантных решений”, и многим другим, — постоянно перехватывала переживания времени, смещая акценты к устойчивости позиций и размеренной динамике. Однако увлеченность процессами “производства и потребления мест” (Джон Урри) современной культурой, да и социологией, если иметь в виду ее настроенность на социальные дискурсы, все больше ослабевает вне темпоральных контекстов, включенности в разные временные режимы, потому как достижение мест (статусов) нерасторжимо сопрягается с временными импликациями — скоростью, периодами индивидуальной и коллективной жизни. Можно сказать, что в культурной перспективе время как бы берет реванш над пространством, переводя его образы в метафоры темпоральности.

Общеизвестно, что эпоха Модерна радикально пересматривает концепцию социального времени. Знание и чувство его убыстряющегося течения уже в XIX веке доступны сначала специализированному, а затем и массовому сознанию. В XX веке, как показал Ханс Ульрих Гумбрехт на материале беллетристики, социальной философии, исторических исследований и в

малой степени социологии (Никлас Луман), было не менее обстоятельно ревизовано представление о последовательности исторического времени: во внезапно расширившемся настоящем — мире симультанности — последовательность модусов времени свернута, снята, она безразлична. Тут прошлое не предопределяет настоящее, а последнее не является причиной будущего: причины или отсутствуют, или не видно приемов, которые помогли бы их установить. Только действующий субъект восстанавливает связь времен, различая и соотнося в устоявшемся порядке их модусы [9, с. 475–477]. В доступных нам языковых пространствах научных сообществ история триумфа “презентизма” — нового переживания времени — описана Диной Хапаевой [6, с. 194–219]. То, что было деликатно и пронизательно проговорено беллетристикой к середине прошлого века, ближе к его завершению становится “коллективной мудростью” обществоведов, тем, что без некоторого смущения уже и не повторить.

Незамысловатый парадокс настоящего заключается в его (настоящего) будто бы недолговечности, мимолетности, о нем обыкновенно думают как о компактном, с легкостью и быстро преодолеваемом рубеже между прошлым и будущим. Но для отдельного человека оно длится и длится, ведь в каждый момент своей жизни он физически находится в настоящем, а в этом “здесь и теперь” во всей своей вещественности и со всеми мыслимыми эвентуальностями и эффектами происходит наиболее значимое для человека. Из настоящего в не вполне отчетливое “назад” отодвигаются факты и подробности его жизни. Приступая к работе, социолог неизменно застаёт свои объекты — индивидов — в их непреходящем “сегодня”. Оно одновременно — именно так мы лидерами научного мнения побуждаемы его видеть и понимать — и “широкое”, поскольку “настоящее” как бы колонизовало и прошлое, и будущее, но и “сокращающееся настоящее” (Герман Люббе) — находящееся в процессе ускоренной делегитимации прежнего индивидуального и коллективного опыта вследствие сгущения и конкуренции инноваций [31]. Однако за безыскусственностью парадокса угадывается неподдельная сложность того, что обозначается как “широкое, но одновременно сужающееся настоящее”, то есть его слоистость, но и неорганичность слоев, которые непросто вообразить и охарактеризовать. Оттого рассматриваемые ниже сюжеты являются не более чем приближениями — неисчерпывающими, неокончательными описаниями структурированности настоящего, опосредованными восприятием действующих лиц.

В отечественной социологии специальные исследования времени не практикуются. Проблематичен и выбор жанра, который соответствовал бы описаниям и репрезентациям длящейся, приходящей и уходящей реальности, воплощающей поступь времени. Тем не менее движения в эту сторону наблюдаются. Недавно Ирина Марковна Попова представила книгу “1989–1991. Диагноз времени (Одесситы о себе и переменах в обществе)”, обозначив ее жанровую принадлежность как “историко-социологические очерки” [32]. Аллюзии, различимые в этой связи, имеют отношение к тому кругу проблем о статусе социологии, ее эвристических и “онтологических” допущениях, амбициях, возможностях и ограничениях, контуры которого в последнее время явственно проступили в ходе как очных дебатов на двух последних конгрессах Международной социологической ассоциации, так и в ряде уже упоминавшихся публикаций.

Указание на историко-социологическую архитектуру книги, когда вектор хронотопа — от года к году — предопределяет порядок расположения социологических свидетельств, оказывается еще и указанием на своеобразную речевую ситуацию на два голоса, сконструированную автором для себя самой. Один коллективный, то есть голос автора и тщательно упоминаемых коллег, воплощенный в материалах для одесских периодических изданий и в отчетах о проведенных опросах и обследованиях обозначенного периода. Второй — голос автора из нашего сегодня, из середины первой декады нового века, с оценками прежде вынесенных оценок как самих ситуаций, так и того, кто оценивал: мотивированное стремление реинтерпретировать однажды уже откомментированное — легитимный, хотя и не вошедший у нас в употребление, прием. Два голоса, разделенных полутора десятками лет. Вниманию читателя, следовательно, предлагается диагноз того времени, которое сначала было “настоящим”, то есть в момент, максимально приближенный к терминам завершения исследовательских процедур. Но также и времени, ставшим довольно отдаленным “прошлым”, весьма отличающимся от “будущего”, точнее “нового настоящего”, в котором пребывает эксперт уже в первом десятилетии следующего века. Различие времен, подлинно или же только мнимо приближающее эвристический горизонт. В призме различий та локальность хронотопа, которая обозначена в качестве “старого настоящего”, или “прошлого”, характеризуется как “кризис перестройки” [32, с. 11], некий ее “вечер”. Нюанс тут не столько в том, что непосредственным участникам не дано, как правило, знать, что уже наступил “вечер” события: лишь присутствие в будущем, причем после завершения события, полагает шанс его периодизации. Полагает тем, что реализованным оказывается один из предполагаемых сценариев развития событий. Социолог в “новом настоящем” обладает более совершенным знанием и как бы обретает “новое зрение”. Тем самым здесь налично и указание на практически непроговариваемый и не обсуждаемый в социологии принцип: хотя являющаяся актуальная темпоральность социально структурирована, но идентификация составляющих структуры крайне затруднена или же вообще неосуществима¹.

¹ Помимо упомянутой в книге работы киевских авторов [33] можно назвать и другие [34], а в архивах социологов Харькова, Днепропетровска, Львова наверняка хранятся многочисленные отчеты, справки, вырезки публикаций из местных газет. Но все те, кто писал о том времени в то самое время (представленный перечень не полон, разумеется), оставили, кажется, данное наследие грядущему историку украинской социологии: он впереди, шанс обретения им фактичности не утрачен, а соответствующим публикации уже образцовали доступный для него архив. Не иной выглядит ситуация и в России. Журнал “Новое литературное обозрение” относительно недавно презентовал коллективный труд историков, литературоведов, социологов, философов о 1990-е годы [35] — некий проект максимально полной реконструкции событий и сопутствующих им как массовых, так и индивидуальных переживаний, вдохновленный осуществленной попыткой Ханса Ульриха Гумбрехта воссоздать в структурах и образах оставленный позади мир состояний, действий и эмоций [9]. Однако Алексей Левинсон и Борис Дубин из Аналитического центра Юрия Левады апеллируют исключительно к собранной ВЦИОМ информации, обязанные к этому, быть может, заданием разработчиков проекта воссоздать ситуацию, а не реинтерпретировать полученные тогда данные. Полидисциплинарный разговор о “длинных” 1970-х поддержан журналом “Неприкосновенный запас”, подтверждая и утверждая взаимодополнительное различие двух видов опыта, которые имеют своими источниками непосредственные и отстраненные переживания, знания и понимание [36].

В то ли намеренном, то ли машинальном игнорировании социологами саморефлексии — заинтересованности в том, чтобы установить, какие схемы восприятия и объяснения организуют и структурируют ход наших мыслей и наши тексты тогда, когда наблюдатель со-временен ситуации и когда находится за ее пределами, со-временен иной ситуации, иному опыту, — угадывается размытое, не поддающееся убедительной конкретизации множество причин. И чтобы говорить о них, также потребовались бы апелляции ко времени.

Приближение I. Модели темпоральных режимов

Французские историки, кому отчасти и посвящен содержательный очерк Франсуа Артога [37], признанные мастера “работы со временем”, преуспели в распознавании его неоднородности (многомерности) больше других социологов и гуманитариев. Образец — одновременно шаблон и пример того, как в принципе такая работа выполняема, — предложен Фернаном Броделем [38].

В распоряжении историка, утверждает он, три модели темпоральности. Во-первых, краткое время, или время событий — того, что случается, происходит. Причем события не укореняются в настоящем, но неизбежно вытесняются новыми, идущими им вслед. Краткое время предстает неким калейдоскопом событий, отдельные конфигурации которых фиксируются историками, но их взаимную или каждого в отдельности обусловленность (логику) обычно не удается реконструировать. По сути, это политическое время, некая “скороговорка политической истории”, в которую профессионально вслушиваются, но малой связности которой не устают удивляться. Изначально, согласно общеупотребимой семантике, история и была знанием и повествованием о событиях [39]. Во-вторых, время относительно протяженных циклов и изменений. В нем события выстраиваются в явственную последовательность, имеющую начало и завершение (цикл), или же обозначаются изломанным вектором преобразований. Не рассчитанный на многие десятилетия проект, но среднесрочный ситуативный порядок проступает в этом времени. Фернан Бродель называл рассказ историка о нем “речитативом конъюнктуры”. В-третьих, медленное время, “медленная история на грани невидимого течения”, где различимыми становятся базисные структуры, фрагментирующие пространство совместной жизни людей, обеспечивающие преемственность опыта и культуры. Нации, народы, цивилизации — вот агенты медленного времени (“большой истории”), они же — предмет рассмотрения ученого-историка.

Аналогия не самая совершенная из интерпретативных техник, но обращение к ней приемлемо в качестве первого жеста, инициирующего разговор и приглашающего к нему. Так вот, широкое настоящее является, безусловно, временем социально неоднородным. Но не только его зримую гетерогенность, воплощенную в дифференциации по занятиям (работа, учеба, отдых) и постоянно находящуюся в сфере интересов социологии, следует при этом подразумевать. Фактичность настоящего заключается — а иначе его невозможно, вроде бы, и помыслить — в его темпоральной многосоставности, на которую, имея в виду, впрочем, историческое время вообще, указывал Фернан Бродель. Тут обнаруживаемы все эти взаимно отличающиеся ритмами присутствия временные потоки, конституирующие темпоральную множественность настоящего, его самую простую ментальную карту. Тем не менее ответ на вопрос о “месте” пребывания в темпоральности заметно теряет в определенности. Человек (респондент и сам социолог) в один и тот же мо-

мент находится во всех трех временах: в “горячем” потоке событий, в относительно “прохладном” течении времени циклов и в практически не ощущаемом течении “медленного” времени. Вкус и способность к локализации в темпоральной множественности настоящего становится органичной составляющей социальной компетентности индивида и профессиональной компетентности исследователя.

Учащающееся “время событий” — не примета, но полноценный репрезентант современного колеблющегося, переменчивого мироустройства. Новации технологического и культурного свойства, с сокращающейся периодичностью навещающие в него, повышают темп замещения явлений и фактов во “времени событий”, но возможность для темпа быть “еще быстрее” оставляют открытой. Ближайшим следствием оказывается истончение “времени событий”, которое уже не в состоянии поставлять собственные фрагменты и фракции для образования трендов во “времени циклов”: стремительный поток “времени событий” проскальзывает по нему без следа, захватывая мир переживаний и хотений индивидов с неожиданным исходом. Предположение, будто индивидам присуще желание познавать окружающее или они не без удовольствия поддаются стремлению разобраться в том, что происходит, все труднее оправдать и эмпирически подтвердить. Референциальность перестала быть элементом словесной игры в обозначения и наименования — об истонченном времени событий можно сказать что угодно. И в нем же не зачинается никакая “история”, чтобы длиться и разворачиваться. Тут безразлично куда двигаться: пути не проложены или никуда не ведут.

Книгу с диагнозом 1989–1991 годов открывает подраздел с заголовком “События перестроечного времени”, позволяющий уверенно идентифицировать темпоральную модальность тогдашнего настоящего, ныне ставшего позабытым прошлым. Намерение, разумеется, состояло не в этом: читателю всего лишь необходимо напомнить, что произошло в диагностируемый отрезок времени. И после подобного напоминания становится понятно, на что, собственно, реагируют опрашиваемые одесскими социологами люди. Между тем в перспективе обсуждаемого темпорального модуса крайне симптоматичным оказывается то, *как* они реагировали. В цитированных высказываниях респондентов речь постоянно идет о том, что “у нас ничего не происходит”, “перестройка идет по телевизору”, “все это пустая говорушка” — настойчиво звучащий рефрен в комментариях к ответам на анкету [32, с. 45–47]. Люди прямо говорят о “неактивности” событий, об их не столько вынесенности за пределы непосредственного опыта, сколько сомнительной достоверности. Это не иначе как легкие, невесомые, эфемерные события, не оставляющие следа, не порождающие других событий. Истонченное “время событий” предстает как *недостоверное время*.

Недостоверному времени нечем поделиться со “временем циклов”, нечего ему уступить, здесь нечему и превратиться в традицию. В отсутствие новообразований время циклов в нашем социокультурном пространстве опустошается также и вследствие ускоренной аннигиляции идеологически окрашенных образов недавнего прошлого, вроде социализма как ступени к коммунизму или развитого социализма как этапа социализма. Перестройка и сама претендовала на статус “цикла” в эволюции социализма. Время циклов становится все беспредметнее и бессодержательнее, обращаясь в пустую оболочку, бесполезность которой осознается и индивидуально. Вступающим в жизнь поколениям не с чем соотносить биологическую цикличность жизни:

юности, зрелости, старости уже едва ли возможно поставить в соответствие какие-либо циклы в эволюции общества: социальное во времени циклов вытесняется индивидуально-биографическим, ослабляя чувство принадлежности к тому, что все еще привычно именуется “обществом”.

Загустевшее большое время — “историческое время” — остается вместилищем архетипов и типов, фактов и артефактов коллективной памяти, способов и критериев установления национально-культурного идентитета, а также многого другого (там точно отсутствует национальная идея, что не возбраняет объявлять ее в интеллектуальный розыск). Авторитет и репутация исторического времени обеспечены случившейся в ходе эволюции народов материализацией в виде институциональных структур (национальное государство, к примеру) и особого стиля жизни. Черед республик, рейхов, речей посполитых отчасти заполняет время циклов, свидетельствуя о жизнеспособности ментальных установок и социокультурных практик, отсутствии разрывов в разного вида темпоральностях — того, что и принято считать *историей* народа или нации. Изменчивость на фоне преемственности отчасти нейтрализует — быть может, все менее убедительно — и сомнения в надежности традиции, ширящиеся в ходе нынешнего этапа глобализации. Ситуация же многих постсоветских государств, когда время истории, минуя время циклов прямо переносится во время событий, форматируется вообще беспримерно. Точнее, действия акторов открывают коридоры для этих переходов, наполняя то, что происходит с людьми, большим временем тотальной истории, как это можно было пережить осенью–зимой 2004 года в Украине.

Приближение II.

Настоящее: опостылевшее, возжеленное, неопознаваемое

В том режиме историчности, который обоснован Новым временем и явно исчерпал себя в прошлом веке, просветление и озарение приходят из будущего (Франсуа Арто). Исчерпал потому, что потенциал неожиданности (непредсказуемости), ему присущий, оказался гораздо выше, чем могли себе представить самые прозорливые из футурологов. Будущее идеологов на правах альтернативы нынешнему состоянию общества и поставщика концептов для толкования настоящего радикально отменено ходом событий. Но и несбывшееся “трендовое” будущее прогнозируют, ориентировавшихся на Римский клуб, лишь подтверждает, что тенденции прошлого ни к чему не обязывают грядущее. То, чему предстоит быть, в качестве пункта наблюдения закрылось, предлагая остановиться в раздумье перед состоятельной или только мнимой безусловностью человеческих дел, неопределенностью их свершений и результатов.

Впрочем, социологию, за исключением ее марксистской версии, все это не затрагивает. Однако находящиеся в обороте и употреблении утверждения о ее малой релевантности обществу означают, что традиционные объяснительные перспективы — структурная, культурная и перспектива действия — не охватывают нечто существенное, а социологические нарративы о мире людей все менее репрезентативны. Очевидно, фрагментированность того, что направляет/ориентирует или же способно направлять/ориентировать поведение индивидов, мельче фрагментированности словаря дисциплины. Или, по-другому, надындивидуальная фокусировка социологической оптики требует переналаживания, исходным пунктом принимая отношение индивида с собой в первую очередь и с миром — во вторую, и не выка-

зывая, тем самым, недоверия традиционным эвристическим и концептуальным настройкам. Пребывание в темпоральных модальностях настоящего и образует такой пункт. Речь не идет, конечно же, о реанимации микросоциологической перспективы или индивидуалистического (веберовского) подхода, но о намеренном дистанцировании от структурных, ценностных, действительностных аргументов в описании и истолковании мира людей, о переходе в иное пространство терминологических и образных вероятностей.

Убыстряющееся время событий предстает недвусмысленным симптомом интенсификации жизни, а призывы интенсивности наиболее настоятельны и пронзительны. Быть динамичным, подвижным, гибким, обновляемым (требование “молодеть”) значит быть под стать времени, социально адекватным. Но обратная сторона присутствия в мире интенсивного времени событий, как о том обстоятельно повествует Ханс Ульрих Гумбрехт в одной из последних своих книг, — это утомление и возникновение острого желания мига покоя [40, с. 134–151].

Вместе с тем утомление имеет и другие, помимо интенсивности, источники. Возрастающая концентрация инноваций и скорость их поступлений заметно расширяют не просто пределы нового, но пределы *неопознаваемого*. Телепередачи, разъясняющие “Как это сделано” или “Как это работает”, ситуацию не спасают, поскольку принципы, по которым действуют приборы и механизмы, все труднее объяснить. Пользование вещами отрывается от знания технологий их изготовления, формируя “новую неосведомленность”, если не новое невежество. В результате мир предметов (“настоящее вещей”), а равно и “мир знаний” перестали быть общими, едиными для всех, они подразделяются не по поколениям, но гораздо более дробно, и уже почти не установить, кого допустимо или надлежит считать современниками. В отсутствие эмпирических свидетельств о том, действительно ли люди замечают массовизацию неопознаваемого, каковы их эмоциональные и поведенческие реакции на такой процесс, как распределяется неопознаваемое между разными социальными категориями, слоями, группами, за представлением о такой дифференциации данной темпоральной модальности закреплён статус искусительного предположения.

Тем не менее летучесть и мимолетность времени событий, а наряду с ними агрессивность блестящего и ухоженного в рекламе постулируют едва ли не доминантную распространенность невзрачного и неказистого, а также неприглядного и отталкивающего. Все вместе — это доказательная примета “дегуманизованного времени”, что так и определено в названии давней книги Жан-Франсуа Лиотара [41]. Из времени событий оказались изъяты (обще)человеческие ценности и цели, а предметность все настойчивее захватывает его. О состоянии и чувстве дезориентированности, свойственных времени и человеку, настойчивее других, быть может, говорил Хосе Ортега-и-Гасет, а его более чем полувековой давности эссе “Тема нашего времени” сегодня читается как точно описывающий нынешнюю ситуацию социологический текст: “Вообразите себе на минуту такой сдвиг, когда великие цели, вчера придававшие ясную архитектуру нашему жизненному пространству, утратили свою четкость, притягательность и власть над нами, хотя то, что призвано их заменить, еще не достигло очевидности и необходимой убедительности. В подобную эпоху окружающее нас пространство чудится распавшимся, шатким, колышущимся вокруг индивида, шаги которого делаются неуверенными, потому что поколеблены и размыты точки от-

счета. Сам путь, словно ускользя из-под ног, приобретает зыбкую неопределенность. ... Западный человек заболел ярко выраженной дезориентацией, не зная больше, по каким звездам жить” [42, с. 264].

Все меньше уверенности, будто отступление за горизонт досягаемости жизненно важных ценностей и целей было временным. Ничто не вызвалось и не поспешило их заменить: в последние десятилетия люди, скорее, свыклись с неопределенностью, а общество в целом научилось жить во времени без ориентиров и обрело необходимый опыт. То, что мыслилось досадным отклонением (буквально по Эмилю Дюркгейму — патологией), превратилось в норму. При этом все короче становятся отрезки времени, определяемые как утратившие привлекательность, *опостылевшие*. Оценки, выносимые времени событий гражданами или экспертами, зачастую представляют собой не что иное, как манифестации опостылевшего. “Досрочные” выборы в законодательные органы, например, превратились в рутинные практики, легитимная нормальность которых не оспаривается. Но динамика опостылевшего в виде притязаний или ультиматумов досрочности лишь подчеркивает непреходящую драгоценность *вожделенного*, сколь бы смутными ни были представления о нем. Неопредмечиваемое, неконцептуализируемое вожделенное, глухая тоска по иному, не покидает времени событий, а напряжение между ним и опостылевшим производит следствия в виде то ли риторических фигур, то ли практических действий.

Перестройка, рассмотренная в книге об одесситах в двух оптиках, одномоментной и пост-фактум, оказывается событием, дестабилизирующим когерентность моделей темпоральности. Предлагалась, следовательно, возможность иного времени, не таких, в пределе альтернативных, условий и обстоятельств совместной жизни. В не меньшей степени перестройкой заявлялась эвентуальность перехода из одного времени событий в заметно отличающееся время событий — из опостылевшего в вожделенное. Темпоральность, которую отныне полагалось преодолеть, переводилась в разряд бесплодных и мнимых времен, некое вместилище осуществлявшихся, но не осуществленных, а также оставшихся неразвернутыми социально-политических фабул. Собственно, политика, помимо прочего, состоит и в том, чтобы власть представляла гражданам доступность вожделенного в кратко- или долгосрочной перспективе, мобилизуя коллективные и индивидуальные чаяния в соответствии с собственными хотениями, предъявляемыми и не афишируемыми замыслами. Разумеется, обнародованной программе действий непременно сопутствуют формулируемые в публичной сфере опасения, что инерция текущего времени событий не уступит преобразующим усилиям по переходу в “новое” время событий. Или — не уступит *таким* усилиям. И здесь темпоральные ожидания власти и людей неотвратимо расходятся: признание доминации ненамеренных следствий действий или бездействия политических элит означало бы признание профессиональной некомпетентности политиков, сворачивание горизонта “политического”, некоего приближения к “завершению политики” вообще.

Российские коллеги, оценивая 1990 год, говорят о “шоке невозвратности” [43]. Имеется в виду едва ли не сразу появившееся ощущение и понимание, что прежний миропорядок ценностно дискредитирован, восстановлению не подлежит, да и не поддается. Вместе с тем источником подобного шока равным образом может быть и широко распространенное сомнение в плодотворности текущего времени. Ведь события перестройки многими

также определялись в качестве недостоверных, и потому вожаемое во всей полноте и во многих частностях и на сей раз представляется недостижимым. Ностальгия, неотделимая от периода социальных трансформаций, предстает жестом символического возврата, перемещения ценного и уважаемого из желаемого, но недоступного будущего в оставленное позади время событий, “старое настоящее”.

Переживание чувства бесповоротности перемещений во времени событий, а равным образом интуитивно-образное или концептуальное схватывание необратимого понижения потенциала исполнимости вожаемого образуют отныне фокус индивидуального и группового присутствия во “времени циклов”. Не исключено — времени стойкого и вряд ли устранимого рассогласования между декларируемыми целями, планами и технологиями их достижения, а также результатами, которые удается получить при их употреблении. Социологических практик это касается не в меньшей мере, чем всех прочих.

* * *

Трудные, как и легкие времена, непременно проходят. Не исключено, что в согласии с духовным стихом, который приводит в “Записях и выписках” Михаил Гаспаров: “Днесь проходит время злое, время злое, остальное. После будет время злее, время злее, остальное” [44, с. 117]. Надо ждать, каким оно будет для социологии.

Литература

1. *Тевено Л.* Наука вместе жить в этом мире // Неприкосновенный запас. — 2004. — №3 (35). — <http://magazines.russ.ru/nz>.
2. *Бек У.* Что такое глобализация? — М., 2001.
3. *Турен А.* Социология без общества // Социологические исследования. — 2004. — № 7. — С. 6–11.
4. *Urry J.* Sociology beyond Societies. Mobilities for Twenty-First Century. — London, 2000.
5. *Вебер М.* “Объективность” социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. — М., 1990. — С. 345–414.
6. *Ханаева Д.* Герцоги республики в эпоху переводов. Гуманитарные науки и революция понятий. — М., 2005.
7. *Коркюф Ф.* Новые социологии. — М.; СПб., 2002.
8. *Оллабри И.* “Новая” новая история: структура большой длительности // ОЙКУ-МЕНА. Альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций. — Вып. 2. — Харьков, 2004. — С. 176–207.
9. *Гумбрехт Х.У.* В 1926: На острие времени. — М., 2005.
10. *Эксле О.Г.* Действительность и знание. Очерки социальной истории средневековья. — М., 2007.
11. *Яковенко Н.* Одна Клио, две истории // Отечественные записки. — 2007. — № 1 (34). — <http://www.strana-oz.zu>.
12. *Копосов Н.* Хватит убивать кошек. Критика социальных наук. — М., 2005.
13. *Chernilo D.* After Postmodernism and Globalism: Rethinking Universalism Sociologically // Theory. The Newsletter of the Research Committee on Sociological Theory. — 2007. — Autumn/Winter. — P. 2–3.
14. *Boudon R.* Sociology that Really Matters // European Sociological Review. 2002. — 18. — P. 371–378.
15. *Goldthorpe J.H.* Sociology as Social Science and Cameral Sociology: Some Further Thoughts. European Academy of Sociology. Third Annual Lecture, Paris, 25 October 2003 // European Sociological Review. — 2004. — 20, 2. — P. 97–105.

16. *Луман Н.* Медиа коммуникации. — М., 2005.
17. *Тевено Л.* Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности // Новое литературное обозрение. — 2006. — № 77. — <http://magazines.russ.ru/nlo>.
18. *Sztompka P.* Zaufanie. Fundament społeczeństwa. — Krakow, 2007.
19. *Гумбрехт Х.У.* Ледяные объятия “научности”, или Почему гуманитарным наукам предпочтительнее быть “Humanities and Arts” // Новое литературное обозрение. — 2006. — № 81. — <http://magazines.russ.ru/nlo>
20. *Эткинд А.* Новый историзм, русская версия // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 47. — <http://magazines.russ.ru/nlo>.
21. *Гудков Л., Дубин Б.* Раздвоение ножа в ножницы, или Диалектика желания // Новое литературное обозрение. — 2001. — № 47. — <http://magazines.russ.ru/nlo>
22. *Уэльбек М.* На пороге растерянности // Уэльбек М. Мир как супермаркет. — М., 2003. — С. 59–84.
23. *Уэльбек М.* Возможность острова. — М., 2006.
24. *Уэльбек М.* Элементарные частицы. — М., 2001.
25. *Исигуро К.* Не отпускай меня // Иностранная литература. — 2006. — № 7. — С. 3–164.
26. *Etzioni A.* Bookmarks for public sociologists // British Journal of Sociology. — 2005. — 56 (3). — P. 373–378.
27. *Kalekin-Fishman D.* Ironies of Public Sociology // Theory. The Newsletter of the Research Committee on Sociological Theory. International Sociological Association. — 2007. — Autumn/Winter. — P. 10–12.
28. British Journal of Sociology. — 2005. — 56 (3).
29. *Burawoy M.* Response: Public Sociology: Populist Fad or Path to Renewal? // British Journal of Sociology. — 2005. — 56 (3). — P. 417–432.
30. *Beck U.* How Not to Become a Museum Piece // British Journal of Sociology. — 2005. — 56 (3). — P. 335–344.
31. *Люббе Г.* В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем // Вопросы философии. — 1994. — № 4. — С. 94–113.
32. *Попова И.М.* 1989–1991. Диагноз времени (Одесситы о себе и переменах в обществе). Историко-социологические очерки. — Одесса, 2006.
33. *Головаха Е.И., Панина Н.В., Чурилов Н.Н.* Киев: 1990–91. (Социологические репортажи). — К., 1992.
34. Политическая культура населения Украины. Результаты социологических исследований. — К., 1993.
35. Новое литературное обозрение. — 2007. — № 83; № 84. — <http://magazines.russ.ru/nlo>.
36. Неприкосновенный запас. — 2007. — № 52. — <http://magazines.russ.ru/nz>.
37. *Артог Ф.* Современность как история // Новое литературное обозрение. — 2007. — № 83. — <http://magazines.russ.ru/nlo>.
38. *Бродель Ф.* Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. — М., 2002–2004. — Ч. 1–3.
39. *Козеллек Р.* Можем ли мы распоряжаться историей? (Из книги “Прошедшее будущее. К вопросу о семантике исторического времени”) // Отечественные записки. — 2004. — № 5. — <http://magazines.russ.ru/oz>.
40. *Гумбрехт Х.У.* Производство присутствия: Чего не может передать значение. — М., 2006.
41. *Lyotard J-F.* The Inhuman: Reflections on Time. — Stanford, 1991.
42. *Ортега-и-Гасет Х.* Тема нашего времени // Самосознание европейской культуры XX века. — М., 1991.
43. *Гусейнов Г.* Шок невозвратности // Новое литературное обозрение. — 2007. — № 84. — <http://magazines.russ.ru/nlo>.
44. *Гаспаров М.* Записи и выписки. — М., 2001.